

Петр Алешкин

# *Юность моя — любовь да тюрьма*

Рассказы о любви



Петр Алешкин

**Юность моя – любовь да  
тюрьма. Рассказы о любви**

«Издательские решения»

**Алешкин П.**

Юность моя – любовь да тюрьма. Рассказы о любви /  
П. Алешкин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833395-8

В произведениях Петра Алешкина всегда острые ситуации, конфликты с неожиданными поворотами, поэтому критики считают, что он привнес в русскую литературу новый прием — поток действия. В книгу включены рассказы из известного цикла «Юность моя — любовь да тюрьма» и другие рассказы о любви.

ISBN 978-5-44-833395-8

© Алешкин П.  
© Издательские решения

## Содержание

Юность моя – любовь да тюрьма	6
1. Первая любовь – первый срок	6
2. Лагерная учительница	14
Конец ознакомительного фрагмента.	25

**Юность моя – любовь да тюрьма**  
**Рассказы о любви**  
**Петр Алешкин**

© Петр Алешкин, 2016

ISBN 978-5-4483-3395-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## **Юность моя – любовь да тюрьма**

### **Цикл рассказов**

#### **1. Первая любовь – первый срок**

##### **Рассказ**

Первый срок получил я из-за любви. Было это так.

Учились мы с Анютой в одном классе. Избы наших родителей стояли через дорогу. Поэтому никаких первых воспоминаний о ней у меня нет. Я знал ее всегда. Для меня Анюта долгое время была такой же, как и другие масловские девчата. Не чувствовал я особой нежности, когда выпадало мне стоять с ней в паре в игре «ручейки», держать ее теплую мягкую руку над головой, давая возможность пройти ручейку из пар между нами, и, когда ее уводили от меня, не переживал, и сам не чаще, чем других девчонок, выбирал Анюту, оставшись без пары. Так было до десятого класса, до того времени, когда мне пошел семнадцатый год.

Я не помню теперь – в какой момент, когда я выделил ее среди других девчонок. Она ли за лето похорошела необыкновенно, или моя душа начала искать объект для поклонения? Скорее всего и то и другое. В юности я был сильно застенчив, влюбчив, смотрел на мир романтическими глазами, обожествлял девчонок, начитавшись романов. И первой богиней для меня стала Анюта.

Помню, в десятом классе, скосив глаза в сторону соседнего ряда парт, где, чуть ближе меня к учительскому столу, сидела Анюта, я не сводил с нее взгляд. Зимнее тусклое солнце освещало ее сбоку. Светлые, тонкие, чуть выющиеся волосы блестели, розово светились на солнце, и мне казалось, что вокруг ее головы круг, нимб. Я забывал, что я на уроке, уходил в мечты, не слышал, что говорят учителя.

Помнится, перед двадцать третьим февраля в классе решили дарить подарки ребятам не от всех девчат вскладчину, как делали раньше, а одна девочка одному мальчику. Потом, на Восьмое марта он должен подарить ей что-нибудь в ответ.

Руки мои дрожали, лицо было каменным и в то же время огненным, когда я принимал из рук Анюты одеколон «Шипр». Я считал, что волнение мое видит весь класс и теперь все поймут мое отношение к Анюте. Я всегда был скрытен, хотя с внешней стороны старался быть простым, ясным, всегда переводил разговор в шутку, в ерничание над собой, когда чувствовал, что касается он той стороны моей жизни, о которой никто не должен знать. Но мои одноклассники не заметили моего состояния, и разговоры о нас с Анютой не появились.

Помню, как мучился я: что подарить Анюте? В мечтах своих я осыпал ее цветами, купал в шампанском! Но откуда цветы в марте в деревне? Где их взять? А вкуса шампанского я сам тогда не знал. Купить его можно было в городе, за двадцать пять километров от школы. Добирались туда зимой только на тракторе. Но самое главное препятствие: где взять деньги на подарок?.. Жили мы бедно. Получали пособие за смерть отца как многодетная семья.

Я давно приметил в нашем магазине красивую коробку духов «Красная Москва». Стоили они бешеные деньги, аж восемь рублей! Где взять такие деньги, когда пособие за отца на пять человек детей двадцать четыре рубля? Зимой в колхозе работы мало, только для тех, кто в штате, естественно, и зарплату не платили. И все-таки я попросил у матери эту сумму. Она обещала дать из пособия, которое получит в первых числах марта.

Школа была в центральной усадьбе колхоза за двенадцать километров от Масловки. Неделю мы жили в интернате, а в субботу нас привозили домой. Пособие мама должна была

получить, помнится, в среду, а в четверг был Женский день. В среду утром я сбежал с уроков, отправился домой за деньгами.

В том году была ранняя весна. Бурно таял снег. Дороги и лощины набухли водой, прорезаны ручьями. Река вскрылась. Мост залило. По льдинам я перебрался на другой берег и быстро зашагал в Масловку, обходя по полю, по снегу и грязи, большие, как озера, лужи, шел, мечтая, как буду вручать Анюте духи, представлял, что скажу ей, как она посмотрит на меня. Больше всего я боялся, что мама не получит пособия. Но к радости моей все было в порядке. Я взял деньги, пообедал и, не отдохнув, отправился назад. Опасался, что не успею до темноты перейти реку. И не успел. Пришел на берег в полной весенней темноте. Ощупью, крадучись перебирался я по льдинам. Река за день поднялась. Вода шумела, хлюпала подо мной, урчала. Снежные льдины шуршали. Страшно идти по ним. Оступишься, юркнешь под лед – и поминай как звали. Никто никогда не узнает, куда я исчез. Кошкой, с бьющимся сердцем, крался я по льдинам, ощупывая каждую на прочность. Перед самым берегом решил, что пронесло, рванулся, прыгнул на берег, на снег и провалился по пояс в обжигающую воду. Слава Богу, стремнина позади. Я выкарабкался, выполз на берег, вылил из сапог воду и побежал в интернат.

На другой день счастливее меня не было человека. Я преподнес свой первый подарок любимой девушке, но слова, которые я тысячу раз повторял, шагая в Масловку и обратно, испарились из головы. В ней стоял только пьянящий счастливый гул. Слов не было.

Помнится, я выдавил из себя, проямлил:

– Будь счастлива!

– Постараюсь! – ответила она.

Каждый воскресный вечер в Масловском клубе я давал себе слово, что сегодня решусь, предложу ей проводить ее. Но как предложить? Как? Ведь из клуба все масловские ребята возвращаются гурьбой. Возле своего дома Анюта отделялась от других подруг и поворачивала налево, а мой дом был справа. Куда идти провожать, если она, сделав три шага от дороги, открывала калитку и скрывалась в своем палисаднике. Идти вслед за ней на глазах у всех? А если она прогонит или просто уйдет, хлопнет дверью? Такого позора, унижения я бы не вынес! Я с грустью провожал глазами в темноте ее смутную фигурку, с тоской слушал шум калитки, скрип двери. И так каждый вечер, каждый вечер! Я мечтал о той ночи, когда мне повезет, мы будем возвращаться из клуба вдвоем, и тогда я смогу сказать ей те слова, которые постоянно повторял про себя. Мы начнем встречаться!.. Но мне не везло, всегда были попутчики.

Приблизились и прошли в школе выпускные экзамены. Мы получили аттестаты зрелости и разъехались по городам поступать в институты. Я в Тамбовский педагогический, а Анюта в Воронежский университет.

В Тамбове, в студенческом общежитии, я оказался в одной комнате со Славкой Сергеевым, своим одноклассником и односельчанином. Жил он на другом конце Масловки, и потому друзьями детства мы не были. К тому же он был совсем другим человеком, чем я. Славка был легок в поступках и в решениях, всегда был весел, нагл, болтлив и, кажется, начисто лишен чувства угрызания совести. Что такое стыд, он не знал. Но странно, его очень любили девушки! Ростом он был высок, горбонос, как Гришка Мелехов. Той весной он встречался в Масловке одновременно с двумя девушками, что для нравов деревни шестидесятых было чудовищно, ново. Спал в открытую с обеими. Когда они не выдержали, подрались между собой, Славка, похохотывая, рассказывал нам, как они таскали друг друга за волосы. В Тамбове он тоже не сидел за учебниками, водил девок в нашу комнату. Таких же абитуриентов. Подпоив, подмигивал мне, чтоб я на время удалился. Потом хвастался успехом, с гордостью и иронией рассказывал мне подробности недавней утехы. Славка не замечал, с какой брезгливостью я отводил глаза от его лица, когда слушал его треп. Он не понимал, что его похвальба вызывает во мне омерзение, считал, что я должен ему завидовать.

- Слезь ты с учебника! – говорил он мне. – Хочешь, и тебе приведу телку?
- Поступлю, видно будет, – отмахивался я.
- Поступим, – уверенно говорил он. – Ты сдашь, а за меня отец кому надо взнос внес.

За уши втянут: никуда не денутся!

И действительно, мы оба поступили: я на филологический факультет, а он на физико-математический.

Дома я узнал, что Анюта провалилась в университете на первом же экзамене и давно в деревне. Через десять дней, первого сентября я уеду в Тамбов, думал я, пути наши разойдутся, и Анюта никогда не узнает, как я ее любил. Нет, надо решиться наконец, проводить ее. Хватит мучиться, пора взрослеть!

Подходя к клубу в первый вечер после приезда из Тамбова, я твердо решил: сегодня или никогда! Появилась в клубе она, как всегда, попозже меня, сама подошла, поздравила, сказала:

- А мне не удалось...
- Куда же ты теперь?
- Не знаю... Скорее всего в Тамбов, на завод...
- В Тамбов?! – не сдержал я своей радости. – Значит, будем видеться! – вырвалось у меня

непроизвольно.

- Возможно.

Весь вечер мне казалось, что я сойду с ума от счастья. Анюта будет жить в Тамбове! И там мне, студенту, ее земляку, будет естественно и просто заглянуть к ней в гости, легко пригласить в кино или в парк погулять. Счастье наше впереди! – ликовал я. За этим ликованием, за разговорами с приятелями о Тамбове, я не заметил, как Анюта исчезла из клуба. Я взволновался, выскочил на улицу: нигде не видать! Значит, ушла домой, успокоил я сам себя. Стало легче: не нужно сегодня ее провожать. В Тамбове все произойдет проще и естественней. Надо потерпеть.

Вечер был теплый. После клуба мы, несколько парней, лежали на траве под кленами, разговаривали, рассказывали анекдоты. Ощущение будущего счастья во мне еще не прошло, не хотелось идти спать. Приятно было лежать на теплой земле, слушать ребят, смеяться, смотреть на дымчатую звездную дорогу через все небо.

- Идет кто-то, – сказал Сашка Левитан, мой одноклассник и приятель.

К нам приблизилась темная высокая фигура, и мы узнали Славку Сергеева.

- Что ты бродишь всю ночь одиноко, – пропел Левитан.

– Когда это я одиноко бродил? – горделиво и весело фыркнул Славка. – Одиночество не по мне... Анюту провожал, – добавил он добродушно.

Сердце мое подпрыгнуло и полетело вниз. Звезды словно покрылись туманом.

– Не ожидал я, что она так на передок слаба, – продолжал говорить Славка без всякого хвастовства.

Я прилип, приклеился к земле.

- Скажешь, трахнул в первый вечер? – насмешливо засмеялся, поддел его Левитан.

- Нет... Сам не пойму, почему сдержался.

- Трепись, треплю!

– Я не треплюсь, чего трепаться зря! Спроси у Алешкина, – кивнул он на меня, – сколько я девок в Тамбове имел?... Я чуть к груди Анюты прикоснулся, погладил, а у нее колени подогнулись... Чего я сдержался, дурачок!

- Анюта не та! – перебил дрожащим голосом Левитан.

- Это для тебя...

По дороге домой меня душила страшная тоска. Я не видел тропинки, хотя ночь была светлая, шел напрямик по бурьяну, нацеплял на брюки репьев. Долго сидел на ступени своего крыльца, обирал репы, швырял их в траву и тихо плакал.



Вечером с нетерпением ждал Анюту в клубе. Хотелось сразу увести ее, поговорить. Но что я мог ей сказать? Что Славка обыкновенный бабник... Да разве не знала она о его похождениях, о том, как дрались из-за него две девчонки!

Анюта появилась на мгновение, и опять я не заметил, как она исчезла. Славки тоже не было в клубе. Надо ли говорить, как прошел для меня этот вечер! Мы опять лежали под кленами. Я не слушал болтовню приятелей, с нетерпением и тоской вглядывался в темноту, вслушивался: не шуршат ли шаги по траве. Издали я различил во тьме его смутную фигуру. На этот раз Славка шел быстро, торопливо. Подошел, сплюнул в сторону.

– Ну как? – насмешливо спросил Левитан.

– В ажуре... Бляха-муха! – ругнулся Славик. – Испачкался весь!.. Посветите сюда, – вытащил он свою белую сорочку из брюк.

Левитан осветил фонариком большое кровавое пятно на сорочке.

– Во сука! – недовольно бросил Славка. – Видно, даванул я сильно, из нее кровяца фонтаном...

Больше он ничего произнести не успел. Какая-то сила подбросила меня с земли. Я, не помня себя, что есть силы врезал ему в лицо. Славка от неожиданности упал навзничь. Я прыгнул на него и стал бить кулаками куда попадет: по лицу, по бокам, по груди. Славка был крупнее, крепче меня. Он быстро вывернулся, вскочил. Но я снова сбил его с ног. Он был сильнее меня, но почему-то не сопротивлялся, то ли был ошеломлен моим напором, то ли еще почему. Я бил его ногами изо всех сил, пинал, бил и плакал, бил и плакал. Потом мне говорили, что я как-то странно по-волчьему выл, подвывал себе в такт ударам. Оттащили меня от него лишь тогда, когда Славка перестал шевелиться.

Славку увезли в больницу, а я, не заходя домой, пошел пешком в Уварово в милицию. Я думал, что убил его. Так и заявил дежурному милиционеру. Но Славка оклемался. У него была выбита челюсть, сломаны ключица и три ребра. На вопросы следователя я отвечал, что подрались мы из-за неприязни к друг другу. Поспорили и подрались.

Первые дни я был в шоке от всего случившегося, но потом, помнится, как-то быстро смирился с происшедшим, успокоился, не боялся следователя, понимал, что лагеря мне не избежать. Жаль было терять институт, но я сообразил написать заявление в деканат до суда, попросил вернуть, выслать документы в Масловку в связи с семейными обстоятельствами. Боялся я одного: тюремной камеры. Наслышан был о ее нравах, о прописке, которой не избежать новичку, о мальчиках-петухах. Я всегда не терпел насмешек и издевательств над собой.

И вот я в камере. Гулко захлопывается за мной железная дверь, гулко стучит в груди сердце. Кажется, стук его не слышен лишь потому, что я сильно прижимаю к груди матрас с закатанными в нем подушкой, одеялом и полотенцем. Камера большая. Человек десять смотрят на меня. Я чувствую, что они с одного взгляда поняли, что я малолетка и первоходочник. Я же вижу только их силуэты, для меня они темная одноликая пока масса, под общим названием – уголовники. Я вижу несколько свободных нар, потом мне скажут, что это не нары, а шконки, говорю громко и бодро, стараясь показаться бывалым, но голос невольно вздрагивает: «Привет!» – и шагаю к ближней свободной шконке. Но меня останавливает один из уголовников, пожилой мужик в клетчатой сорочке с закатанными рукавами, руки густо синеют наколками, указывает на другую, подальше от двери. Я без слов подчиняюсь, сбрасываю свою ношу на железные сварные прутья, раскатываю матрас и начинаю натягивать на него дрожащими руками грубую матрасовку. Занимаясь делом, я из всех сил стараюсь не глядеть по сторонам, но спиной чувствую, что за мной наблюдают. Я не тороплюсь. Постелю, что дальше делать, как вести себя – не знаю. Тоска и страх! Жуткое напряжение во всем теле. Наконец постель застелена, я сажусь на нее и обхватываю голову руками. Через минуту слышу как кто-то присел рядом, слышу голос.

– Скверно, братишка?

Рядом со мной сидит парень чуть постарше меня, чернявый, с реденькими усиками и чуть опущенной вниз нижней губой. Я качаю головой, показывая: да, плохо!

– Кличут тебя как?

Я чуть не сказал: Петя, но быстро сообразил, что мое имя легко обыграть: петя-петушок, петух на жаргоне – гомик, пидор и ответил быстро:

– Петр!

– Петруха, значица... А меня Толян, – протянул он руку.

Я пожал.

– Откуда ты?

– Из Масловки...

– Не слышал что-то... Где это?

– Рядом с Кисилевкой, – слышу я голос от стола.

Значит, к нашему разговору прислушиваются. С одной стороны, это меня ободряет, а с другой – заставляет сильнее напрячься.

– Шьют тебе какую статью?

– Драка... двести шестая...

– Хулиганка... значица. Баклан, бакланчик... пока мы будем звать тебя Белый, – провел он по моей голове рукой от лба к затылку, взъерошил волосы.

Я быстро пригладил их рукой. Волосы у меня за лето выгорели на солнце, были белыми.

– Ты, верно, слышал, без прописки у нас нельзя... Получил жилплощадь, пропишись, будь добр!

– Раз надо... – жму я плечами, стараясь говорить уверенно. А внутри меня, помню, все напряжено, натянуто. Всеми силами я стараюсь сохранить достоинство, не унизиться. Страшно боюсь унижения!

Я слышал, что прописывают в камере железной ложкой по заднице, и решил терпеть.

– Пошли к столу.

Возле него поигрывал блестящей столовой ложкой высокий парень с прыщами на лбу и щеках.

– Сыграем в переглядки? – весело и насмешливо подмигнул он мне.

Я растерялся от неожиданности, не понял его.

– Как это?..

– Кто первым моргнет, тому пять ложек по жопе.

– А тебе-то за что? – ляпнул я.

В камере засмеялись.

– Ты сначала перегляди! – обиделся прыщавый. – Садись!

Мы сели напротив и уставились друг другу в глаза. Значит, прописка – это игра, а не простое избиение, тогда не страшно, думал я, глядя в его серые и какие-то мертвые, ничего не выражающие глаза. Всеми силами я старался не моргнуть, смотрел и смотрел в мертвенную пустоту его гляделок, смотрел до тех пор, пока они не стали расплываться передо мной, покрываться туманной мглой. Я чувствовал боль в глазах, сухую резь, но не моргал, держался. Я не понимал, что делаю глупость, наживаю себе врага, жестокого врага, поэтому с радостью услышал вскрик:

– Моргнул!

Я посчитал, что моргнул мой соперник. Но указывали на меня. В первый момент я хотел воспротивиться: я не моргал! Но решил не сопротивляться, начал растегивать брюки, под веселые возгласы сокамерников:

– Снимай, снимай! Пошевеливайся!

Радостный прыщ хлопал ложкой по своей ладони.

Я повернулся к нему со спущенными брюками и стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Кричать я запретил себе. Звонкий шлепок! Ягодицу обожгло, словно плеснули кипятком. Я глухо ахнул, хватанул воздух ртом, готовясь к новому удару.

– Ловко! – хохотали вокруг.

– Надевай штаны! Чего застыл! – кричали мне.

– А еще? – ляпнул я, делая голос бодрым.

– Понравилось? – смеялись все, а кто-то пояснил. – Десять секунд ты недотерпел, моргнул... Потерпел бы еще, выиграл!

Я быстро натянул брюки, с надеждой думая, что самое страшное позади. Прописан. Но не тут-то было. Чернявый Толян взял меня за локоть и подвел к стене, к батарее.

– Сыграй на гармошке!

Прыщ сзади постукивал ложкой по ладони. Слышны звонкие шлепки. Я догадался, что нужно не играть на батарее, а отвечать. Сыграешь – будешь посмешищем. Я сделал вид, что осматриваю батарею, потом, повернулся к Толяну.

– Наладь сперва басы!

Позже я узнал, что нужно отвечать «раздвинь меха!», но и моим ответом удовлетворились. Едва я ответил, как увидел, что прямо в меня летит веник. Я еле успел поймать его.

– Сыграй на балалайке!

Теперь для меня было совсем просто. Я швырнул веник назад с криком:

– Настрой струны!

– Молоток! – слышал я одобрительные возгласы сквозь смех. – Сообразительный!..

На дух его проверить надо!

Толян достал маленький складной нож, вместо ручки намотана тряпка, и протянул мне:

– Держи! – и крикнул однокамерникам: – Полотенце сюда!.. Завяжите ему глаза, да покрепче!

Мне обмотали голову полотенцем, туго завязали сзади.

– Вытяни левую руку перед собой ладонью вверх, – приказал Толян. – Вот так... Я буду считать до трех, а ты при счете три бей со всего маху ножом в ладонь!

– Зачем? – прошептал я. Внутри меня все трепетало.

– Бей, говорят! – жестко повторил Толян. – Размахивайся давай, поднимай руку с ножом!.. Выше... выше... Вот так! Начинаю считать! Раз... два... три-и!

В камере тишина.

Я, сжав зубы, ударил ножом в свою ладонь. Лезвие воткнулось во что-то твердое. Я выпустил нож и сорвал полотенце с лица. Нож торчал в книге. Вокруг вновь хохотали. А внутри меня все клокотало от ярости, от пережитого страха и напряжения. Это, видимо, легко читалось в моих глазах. Толян вытащил нож из книги и приобнял меня за плечи.

– Не кипятись, не кипятись!.. Надо ведь нам понять, что за кент к нам пожаловал: гнилой – не гнилой... Все, ты прописан!

– Это дело обмыть надо! – подсказал кто-то, видно, новый прикол.

– Хватит с него, – остановил Толян.

Еще больше зауважали меня после того, как в нашей хате появился Васька Губан, из Яруги. Он часто бывал в масловском клубе. Но я всегда сторонился его, невольно опасался. Вел он себя агрессивно и выглядел типичным уголовником.

– Это ты Славке ребра поломал? – удивился он, увидев меня.

– Я...

– Ну, бля, орел! – глядел он на меня с восхищением. – Как же он тебя соплей не перешиб? Ты же перед ним шибзик!.. У нас слух прошел: какой-то Петька Алешкин Славке все кости поломал! Я, бля, никак тебя вспомнить не мог. Что же это за амбал, думаю, в Масловке появился... Каратист, что ли?

– Дзюдоист, – ухмыльнулся я.

Суд был скорый. Судьи не выяснили только одно: из-за чего вспыхнула драка. Но они, впрочем, не упорствовали в поисках истины. Потерпевший и преступник налицо. Картина преступления совпадает в их показаниях. Преступник зверски избил потерпевшего. Сам считал, что забил его до смерти.

Когда меня привели в небольшой обшарпанный зал суда, я сразу же увидел на скамье Анюту. Она угрюмо сидела на второй деревянной скамье рядом с матерью Славки. Я не ожидал ее увидеть здесь и сперва растерялся, заволновался. Сердце заныло... На последнем ряду в уголке с заплаканными глазами притаилась моя мать. Мне ужасно жалко стало ее, ужасно горько. Глядела она все время на меня. Я улыбнулся ей и поднял вверх большой палец: мол, не волнуйся, я не пропаду! Мама покачала головой, словно говоря: дурак, ну дурак! Что же ты наделал?

Во время короткого заседания я старался не смотреть ни на мать, ни на Анюту, не травить свою и без того измученную душу. Изредка у меня возникала надежда: может, дадут условно, не отправят в колонию? Психологически я был готов к трем годам общего режима. Так определили мои опытные сокамерники. Так и случилось.

Когда приговор был оглашен, и судьи поднялись, стали собирать бумажки со стола, а немногочисленные зрители выходить из зала, Анюта вдруг быстро шагнула в мою сторону и громко прошептала:

– Я тебя ненавижу!

Я отшатнулся, как от удара, и глупо улыбнулся, застыв на месте. Меня всего обдало огнем: за что? Я окаменел, парализованный. Не видел, не помню, как уходила она. Помню только, что конвойные чуть ли не на руках вытащили меня из зала.

– Не дрейфь! – встретил меня на хате яруженский Васька Губан. – Год тебе сидеть, до пятидесятилетия Советской власти. А там амнистия, и ты дома!

Он оказался прав. Отсидел я год, вернее, отработал в колонии на мебельной фабрике. И в конце шестьдесят седьмого вернулся в Масловку. Во всех официальных документах, учетных карточках отделов кадров я всегда отмечал, что этот год я проработал в колхозе.

Дома узнал, что Анюта живет в Тамбове со Славкой нерасписаная. Вроде бы жена, а вроде бы и нет. Они снимают комнату. Анюта работает на заводе, а Славка учится. Горько и грустно слушать такое. Я не мог без тоски смотреть на изумрудный пузырек «Шипра», который когда-то держали ее руки. Пользовался я им редко, в особо счастливые и нежные моменты, поэтому пузырек был всего лишь на четверть опустошен.

По вечерам я ходил в клуб, чувствовал у ребят интерес ко мне, как к бывалому человеку, и по глупой молодости старался держаться соответственно.

Однажды, помню это было в декабре, бегу я на лыжах из магазина домой. День солнечный, морозно. Снег на крышах изб, на бугре за огородами, за рекой ослепительно блестит, радует глаз. Воздух крепкий, чудесный. Укатанная санями дорога по лугу ладно, в такт бегу, поскрипывает. Настроение отличное, щеки приятно горят на морозе. Каждая жилочка трепещет во мне от ощущения молодости, беспричинной радости. Навстречу по тропинке, протоптанной в снегу, идет женщина в сером пуховом платке, в светлокоричневом пальто. В двух шагах от нее я поднимаю голову и с разбегу останавливаюсь, словно с маху врезаюсь в забор.

– Анюта?!

Я не узнал ее: серое худое лицо, под глазами круги, от уголков губ слева вниз тянется розовый шрам, глаза потухшие, унылые. И какая-то она вся сгорбленная, постаревшая.

– Что с тобой? Что случилось? – вырвалось у меня.

– Ничего... Все хорошо, – как-то жалко передернула она плечами и пошла дальше.

Я проводил ее глазами и уже не побежал, а побрел на лыжах. Снег перестал весело и звонко скрипеть, а печально и жалобно шуршал под лыжами. Ощущение радости исчезло. Больно стало и горько.

– Ушла Анюта от Славки, – сказала мне мать. – Жили-то они враздрызг. Он пьет без просыпа. Из института выгоняли, отец съездил, уладил... А как пьяный, бьет Анюту смертным боем. Недавно избил и выкидыш у нее случился... Она прямо из больницы – в Масловку...

Через неделю я узнал: увез отец Анюту в Калининград к родственникам. Вскоре и я уехал из Масловки. Закрутила, завертела меня жизнь: строительное училище, второй срок, который я отмечал в учетных карточках отделов кадров как комсомольскую путевку на строительство газопровода, армия, Харьков, Сургут, Москва.

Я знал, что Анюта вышла замуж, что у нее две дочери. Живет неплохо.

Лет через пятнадцать мы встретились в Масловке. Трудно ее было узнать: растолстела необыкновенно. Вся заплывла жиром, но веселая. Ничего от Анюты, которую я любил, в ней не осталось. Даже волосы перестали виться, распрямились, поседели, стали толще, грубее. Другой человек, другая женщина! Она была жизнерадостна, весела, словоохотлива. Говорила о своих девочках, о муже – любителе рыбалки, рабочем судостроительного завода, интересовалась моими книгами. Я подписал ей две последние дежурной фразой: моей однокласснице...

Ничто не дрогнуло во мне, не шевельнулось печально во время разговора с ней. Подумалось: ушло, забылось, умерло. Но почему же тогда с такой жгучей грустью смотрю я на полупустой изумрудный «Шипр», и, кажется, вижу еще на зеленоватом стекле отпечатки девичьих пальцев, чувствую их тепло, почему так печально сжимается сердце и хочется вскрикнуть, простонать, как в том чеховском рассказе:

Анюта, где ты?!

## 2. Лагерная учительница

### Рассказ

После амнистии я проболтался месяц в деревне, обдумывая как жить дальше. Уехать просто так из Масловки я не мог, паспорта не было. Председатель говорил: работай в колхозе, в городе ты пропадешь, справки ты от меня не дождешься, значит, паспорта тебе не видать. Забудь о нем.

Был декабрь. Постоянной работы в колхозе не было. И два раза в неделю вместе с тремя мужиками и трактористом возил я солому с полей коровам на корм. Утром, часов в девять, мы собирались в теплушке на ферме, резались в карты в дурачка до одиннадцати, а потом ехали в поле на тракторе. Сгорбившись, подняв воротники от холода, сидели мы на больших тракторных санях, срубленных специально для перевозки соломы. Снежная пыль от гусениц осыпала нас всю дорогу. Мы останавливались возле омета, снег вокруг которого весь испещрен заячьими следами, накладывали воз, потом, если погода была солнечная, не мело, делали в омете конуру и снова начинали играть в карты, пока низкое солнце не коснется горизонта. Возвращались всегда затемно.

Председатель колхоза решил летом строить новый коровник, и нужны были каменщики. Со стороны ему нанимать не хотелось, и он направил в Уварово в строительное училище трех парней до весны. Среди них оказался и я. Летом я снова собирался поступать в Тамбовский пединститут, а до лета нужно было где-то перекантоваться. Учителем я не думал работать, я хотел получить литературное образование.

Жили мы в Уварово в общежитии, жили весело. Два этажа занимали будущие штукатуры-маляры, а два – каменщики и плотники. После занятий еще на пороге училища друзья мои, помнится, часто спрашивали у меня: сегодня куда двинем?

Я окидывал взглядом девчат, выходящих на улицу, и останавливал какую-нибудь ласково:

– Валюшка, нам так хочется заглянуть к тебе вечером, посидеть, попеть под гитару?

Я не помню, что бы мне отказывали. Думается, потому, что ни одна такая вечеринка не заканчивалась скандалом. Никто не упивался вусмерть, не грубил девчатам. Они знали, что я пишу стихи. Я охотно давал им читать свои тетради. Песни на мои стихи пели ребята под гитару, а сам я так и не смог научиться играть. Местные хулиганы, которые часто бывали в общежитии, с насмешкой называя его НИИ по половым вопросам, обходили стороной комнату, где были мы. Они знали, что я сидел, знали за что, знали, что со мной всегда финка, которую я носил в боковом кармане пальто в специальных кожаных ножнах. Если, бывало, они врываются в комнату, где проводили вечер мы, я никогда не вступал с ними в спор, молча брал финку и начинал резать на столе хлеб или колбасу. Лезвие у нее было острейшим. Я, хвастаясь, иногда показывал, как она сбивает пушок на моей руке. Верхняя часть лезвия была в зазубринах, как пила. Длина – тридцать сантиметров. Вот такой финкой я спокойно, не обращая внимания на с шумом ворвавшихся местных хулиганов, резал хлеб. А одна из хозяек комнаты говорила им:

– Извините, ребята, у нас и так, видите, комната забита, сесть негде... В другой раз...

Они, посопев секунду-другую недовольно, покосясь на мою финку, на мое спокойное лицо, уходили. Местные ребята, как мне передавали, были уверены, что я, не задумываясь, пушу в ход нож. Но я не был уверен, что смогу пырнуть им человека, более того, был уверен, что никогда не смогу этого сделать.

В застольях я никогда не был тамадой, не был балагуром. Оставался застенчивым, скованным, хотя тщательно скрывал это. К девчатам относился двойственно: в светлые минуты по-прежнему обожествлял их, это было чаще всего, а в грустные, вспоминая Анюту, охотно

поддерживал мужской разговор, говорил, что все они шлюхи, все готовы распластаться под любым уродом. В те дни я не только ни разу не был с женщиной, но даже ни разу не касался девичьих губ. Думается, что такой опыт вскоре пришел бы ко мне. Я замечал, как поглядывают на меня некоторые будущие штукатуры. Все пришло бы той зимой шестьдесят восьмого года, если бы я вновь не оказался за решеткой.

Помнится, это было после Рождества, в субботу, я зачем-то приехал в центр и встретил там Ваську Губана из Яруги, с которым мы сидели в СИЗО. Тогда он, чуть попозже меня, получил свой срок и тоже освободился по амнистии. Мы уже виделись с ним не один раз, выпивали, но к его компании я не пристал, по-прежнему старался держаться подальше от него. Вид у Губана был помятый, глаза страдающие, ищущие. Понятно, после сильного бодуна. Увидел меня, обрадовался. Пошли в пивнушку. Там он отошел малость,пил, охал, вздыхал: хорошо! Называл меня братаном. После второй кружки совсем взбодрился, говорит:

– Братан, чуть не забыл... Мне фонарик купить надо, здесь в культтоварах. Но там мегера работает, я ей десятку должен... Мне она не продаст, заберет деньги, зайди, купи! – сует он мне рубль двадцать.

– О чем речь! Пошли... – быстро согласился я. Пить еще одну кружку холодного пива в холодной грязной пивнушке не хотелось. Не терпелось поскорее отделаться от Губана. Подумалось, помню, куплю фонарик и распрощаюсь.

– Только ты повнимательней выбирай, – советовал он мне по пути в магазин. – Чтоб светил хорошо, в точку, не разболтанный был, ладно? Лампочку проверь!.. А я на улице подожду...

В магазине была только одна женщина в белой пуховой шапочке, небольшого росточка. Она стояла ко мне спиной, разговаривала с продавщицей, молодой, рано располневшей женщиной с добродушным спокойным лицом. Были они как раз в том месте прилавка, где продавались радиоприемники, батарейки, фонарики. Я попросил фонарик и стал рассматривать его, откручивать-закручивать, пробовать пальцем – хорошо ли держится лампочка? Стукнула входная дверь, но я не оглянулся: мало ли народу ходит в магазин? Мне показалось, что лампочка вкручивается как-то криво, и я попросил продавца, которая, прекратив разговор с женщиной, смотрела, как я разглядываю фонарик, показать мне другой. Она потянулась к полке, и в это время раздался звон разбитого стекла. Мы – продавец, женщина и я – разом обернулись на звон. Васька Губан с нахлабученной на лоб шапкой запустил руку в разбитую витрину прилавка, выгреб что-то оттуда, сунул руку в карман, повернулся, крикнул мне: Тикай! – и рванулся к двери. Первой опомнилась женщина в пуховой шапочке и бесстрашно кинулась к нему наперерез, а продавщица тонко заорала:

– Держите его!

Губан около двери отшвырнул женщину и выскочил на улицу.

Продавец по-прежнему кричала истошно и тонко:

– Держите его! Держите! – Она откинула крышку прилавка и, несмотря на свою полноту, стремительно бросилась ко мне.

Я только тут понял, что меня принимают за соучастника кражи, и тоже рванулся к выходу, но проем двери, раскинув руки в стороны, храбро закрывала маленькая женщина. Белая пуховая шапочка на ее голове сбилась в сторону. Я остановился в нерешительности: бить ее, отшвыривать! Если бы передо мной был мужик, другое дело. И в этот миг сзади меня цепко, судорожно обхватила продавщица, донесся громкий голос грузчика, спешащего из подсобки на помощь. Я понял, что сопротивляться бесполезно, мне не уйти, повернул голову к крепко обнимавшей меня продавщице и сказал спокойно, даже, кажется, улыбнулся:

– Задушили! Отпусти... – и усмехнулся навстречу разъяренному грузчику.

Он был мордат и широкоплеч и не скрывал намерения врезать мне от души, пока держит сзади продавщица.

– Я хотел вора задержать, а они меня схватили, дуры!..

Грузчик остановился в растерянности: верить мне – не верить?

– Отпусти! – уже грубее крикнул я продавцу. – Из-за тебя вор удрал!

Она неуверенно разжала мягкие объятия, говоря:

– Не выпущу из магазина до милиции.

Маленькая женщина быстро поправила свою пуховую шапочку и выскочила на улицу, надеясь догнать Губана, но быстро вернулась, сказала с горечью:

– След простыл!

Выяснилось: Губан разбил витрину с золотыми изделиями и унес несколько золотых колец и сережек. Как позже посчитали, всего на сумму около двух тысяч рублей.

Милиция прибыла быстро. Отделение было неподалеку. Я думаю, мне бы удалось выкрутиться: разговаривал с ними я совершенно спокойно, что сбивало их с толку. Но они под конец допроса решили меня обыскать, и сразу обнаружили за пазухой финку, да и продавец с женщиной твердили в один голос, что я соучастник, отвлекал, когда тот воровал. Они отчетливо слышали, как вор крикнул мне: Тикай! Это «тикай» меня и погубило. Я был арестован.

Следователю я продолжал твердить, что зашел в магазин случайно, вора не знаю, никогда не видел и не могу сказать, почему и кому он крикнул: Тикай! Следователь мне не верил скорее всего потому, что я уже сидел один раз, значит, был способен на преступление. Сколько бывшего зека не корми, он все равно в тюрьму смотрит! Однажды следователь не выдержал моего упорства, вспылел, заорал на меня, распаяя себя, и врезал кулаком изо всех сил, целясь под дых, но промазал, попал в живот. Я свалился с табуретки на пол. Первый раз меня били. В прошлый раз было незачем. Я ничего не отрицал, все протоколы подписывал безоговорочно. Я упал на пол, скрючившись, прижимая руки к животу. А следователь яростно подскочил ко мне, размахнулся сапогом. О, сколько сил мне понадобилось, чтобы не заорать на него матом, не обозвать козлом, даже не глянуть с ненавистью, не откатиться к стене! Я лежал беззащитно и смотрел на него снизу вверх. Нога его задержалась в воздухе.

– Зачем вы... – прошептал я беззлобно, с некоторой горечью и обидой.

Он опустил ногу, вернулся к столу и начал закуривать дрожащими руками. Я медленно поднялся, сел на стул. Руки я все прижимал к животу, показывал, что мне больно, мол, ударил он сильно, хотя боли не чувствовал. Он помолчал, спросил впервые о ноже:

– Финку где взял?

– Купил.

– Где?

– В Тамбове. В охотничьем магазине.

– Проверим.

Нож я действительно купил там.

– Ты знаешь, что за ношение холодного оружия статья до трех лет.

– Это не холодное оружие...

– Ну да, это перочинный ножик, – усмехнулся следователь.

– Охотничий нож... – возразил я.

– Слушай, не придуряйся... ты на дурака не похож, – вдруг вздохнул следователь. – За один этот ножичек тебе три года светит, выдашь ли ты, не выдашь своего поделника...

Следователь замолчал, пуская дым под стол и глядя на меня. Он не производил впечатления обычного дуболома мента. Молодой еще, видно, недавно окончил институт, еще не нахватался воровского жаргона, лицо не огрубело, глаза не потухли. – Нутром чую, что ты не вор...

– А почему же не верите? – вырвалось у меня.

– Не верю, что не знаешь вора, не верю, – произнес он с какой-то горечью. – Но верю, ты его не выдашь, отсидишь за него... Если бы ты сейчас хоть чуточку шевельнулся, – указал он глазами на пол, – Я бы тебе все почки отбил...



– Почему же... остановился?..

– Лицо у тебя... – Он подбирал слово, но видно, не нашел точное, – не бандитское... – И добавил: – Глаза не врага!

Я не понял его тогда. Но позже, когда учился в Москве во ВГИКе, преподаватель драматургии, интересуясь мнением студентов по какому-то вопросу, обратился ко мне с такими словами:

– А что скажет молодой человек с внешностью положительного героя?

Да, как я понял потом, у меня была внешность положительного человека. Может быть, потому, что я всегда любил людей, не абстрактное человечество, а конкретных людей, тех с кем меня сталкивала жизнь, даже в лагере. И люблю до сих пор и, возможно, это читается в моих глазах. Думается, и люди отвечали мне тем же. Конечно, бывало, и я невольно обижал близких, и меня обижали, получал и я неожиданные тумаки, но мне всегда казалось, что это от непонимания меня, моих поступков. Я никогда долго не сердился на обидчиков, не старался отомстить, верил: жизнь сама все расставит на свои места. В юности, выбирая подсознательно сюжеты и героев для своих произведений, я не думал, что пишу о светлом. Григорий Михайлович, руководитель литературной студии в Харькове, как-то сказал мне:

– Жизнь корежила, ломала тебя, а в произведениях твоих этого не чувствуется. Почему?.. Не надо, конечно, писать с обидой на жизнь, но некоторая жесткость тебе не помешала бы.

Помню, в те юные годы я дал себе слово никогда не писать о тюрьме и о начальниках, только о простых людях. Слово это я, к сожалению, нарушил: есть среди моих персонажей президент России, а теперь я пишу о своем лагерном прошлом.

На суде я тоже не назвал имени Васьки Губана. Прокурор просил дать мне шесть лет по двум статьям, но судьи почему-то отмени статью о ношении холодного оружия, а по второй статье получил я три с половиной года.

Ни хата, ни зона меня не пугали. Все было знакомо. Только теперь я должен был сидеть не с малолетками, а в колонии для взрослых. Мне шел девятнадцатый год. Из Тамбова нас, человек двадцать зеков, поездом отправили в Саратовскую область в Александров Гай на строительство газопровода «Средняя Азия – Центр».

Строили мы не газопровод, а компрессорную станцию к нему неподалеку от степного городка, где когда-то сражался Чапаев. Степь была здесь ровная-ровная, а земля коричневая, не земля – глина. Вода в колодцах соленая, поэтому питьевую нам привозили в цистерне. Жили мы в низких соломенных бараках, сляпанных на скорую руку. Когда я оказался там, корпуса компрессорной уже стояли, и меня определили в бригаду изолировщиков. Мы должны были изолировать турбины, обматывать, обвязывать их шлаковатой в несколько слоев. Шлаковата сыпалась на лицо, набивалась за шиворот, в рукава, впивалась в тело. Изолировщики потом всю ночь чесались, и кожа в открытых местах постоянно была в красных точках, как у чесоточных. В лагере, хоть он и был временным, было все, что положено при общем режиме: санчасть, столовая, клуб, где два раза в неделю крутили фильм, библиотека, школа и Ленинская комната. В ней зеки в свободное время обычно играли в карты. Меня подмывает, руки просто чешутся описать ряд интереснейших случаев из лагерной жизни, о событиях, но тема рассказа моего другая. Как-нибудь в следующий раз. Хорошо, отвлекусь на миг, расскажу, как меня в первый же день чуть не сделали «козлом». Козлами или ссученными называют тех зеков, которые согласились работать на администрацию: бригадиры, библиотекари, завклубом, завстоловой и тому подобный состав. Ниже «козлов» по положению в лагере только петухи, педерасты.

Только устроился я в бараке по прибытии в лагерь, застелил шконку, разложил в тумбочке вещи, слышу дневальный кричит:

– Алешкин, Кукленко, на выход!

Выходим мы вдвоем на улицу. Возле барака нас ждет лейтенант в полушубке с двумя граблями.

– Видите, на запретке сугробы намело, – указывает он нам на запретную зону. – Быстренько снег разровнять. Чтоб ровненько было! Марш! – сунул он нам грабли.

Кукленко взял свои, а мои упали рядом со мной на тропинку.

– В чем дело? – рявкнул он на меня. – В карцер хочется?

В запретной зоне вспаханную землю летом регулярно разравнивали граблями, чтобы на земле могли остаться следы, а зимой ровняли снег, чтоб за гребнем сугробов не прополз незамеченный беглец. Делали это козлы, активисты. Я понял, если войду на запретку с граблями, все – я козел, не пойду – непременно окажусь в ШИЗО на пятнадцать суток. А в таком холоде карцер не мед. Бога благодарить надо будет, если только с воспалением легких вынесут. Меня осенило вдруг, надо придуриться, и я сделал испуганное лицо, опустил глаза и прошептал с наигранной дрожью в голосе.

– Не пойду в запретку!

– Бери грабли! – снова рявкнул лейтенант.

Я в ответ только сгорбился сильнее, но не шевельнулся.

– Иди пиши объяснительную за отказ подчиниться. И в ШИЗО на пятнадцать суток.

В конторе мне дали листок и ручку. Вместо объяснительной я написал заявление прокурору, что вопреки правилам, по которым зек не имеет права не только входить в запретную зону, но и приближаться к ней, мне приказывают идти в нее якобы для работы, но я понимаю, что им нужно, чтобы охранник меня подстрелил и получил за это отпуск. Это заявление я передал дежурному, попросив передать прокурору. Он прочитал и захохотал, позвал лейтенанта. Тот тоже захохотал над моим заявлением. Насмеявшись, они порвали бумагу и сказали мне:

– Ступай в барак, отдыхай, завтра в бригаду изолировщиков!

Ликуя в душе, что я так легко отделался: и в актив не попал, и карцер миновал, я радостно заскрипел валенками к своему барaku, глядя, как дурачок Кукленко добросовестно работает граблями в запретке, ровняет снег. А может, и не дурачок? Некоторые зеки добровольно шли в актив.

Помнится, в тот же день, просидев в бараке часок, чтоб дежурный и опер забыли обо мне, пошел знакомиться с лагерем.

Первым делом заглянул в санчасть. Пьяненький фельдшер, мужичонка небольшого росточка, грубо спросил:

– Какого... надо?

– Знакомлюсь.

– Познакомился, утопывай. – Он, конечно, сказал поглубже.

Я зачем-то весело подмигнул ему и пошел в клуб. Завклубом, лысый и полноватый мужик лет пятидесяти, напротив, обрадовался мне. Был он тоже под мухой. «Неплохо здесь живут козлы!» – подумал я.

– Новичок! – долго с удовлетворением тряс он мне руку, и едва мы познакомились, спросил: – Поешь?

– Не-е, танцую! – засмеялся я.

– Это здорово! – радостно воскликнул он таким тоном, будто я сказал ему об указе об амнистии, по которому он освобождается из колонии. – Танцоры нам нужны! Записываю в художественную самодеятельность, – бросился он от меня к столу, к амбарной книге.

– Я только во сне танцую, – остановил я его. – Вообще-то, стихи почитать могу. Можешь записывать, – согласился я.

– Стихи тоже хорошо, – с прежним энтузиазмом, ничуть не обидевшись, что я разыграл его с танцами, продолжал завклубом, записывая мое имя в амбарную книгу. – У нас литературный кружок есть, рекомендую! Каждое воскресенье работает. Энтузиастка ведет, энтузиастка, скажу я тебе!.. Смотри, сколько у нас кружков, – указал он на плакат на стене, – выбирай любой!

В длинном списке был даже акробатический кружок.

– Хочу в акробаты, – сказал я.

– Акробатический, честно скажу тебе, – прижал руку к груди завклубом, – не работает... Был тренер, освободился недавно. Ученичке своей лохматый сейф вскрыл и загремел на восемь лет... – Завклубом вдруг горестно вздохнул. – Я тоже за лохматый сейф срок мотаю, и он быстро забалаболил: – Но у меня другое дело, честно я те скажу. Взревновала одна хористка, что я к ее подруге заглянул, и пришили дело. Бабам вера... Может, ты ко мне в хор хочешь? Ох, какой у нас хор!..

– А кто литкружок ведет? – перебил я его.

– Учителька одна! Энтузиастка, скажу я тебе...

– Где они собираются, здесь? – снова перебил я.

– В библиотеке, в библиотеке в этом же бараке... С того торца вход. В три часа, каждое воскресенье!

– Спасибо. До свидания, – повернулся я и пошел к двери.

– Напрасно, напрасно ты в хор не хочешь! Отличный хор! Я профессионал... Заслушаешься, – говорил мне вслед завклубом.

На удивление мое библиотека оказалась хорошей: собрания сочинений Лескова, Марка Твена, другие классики.

– Зек один завещал, – пояснил библиотекарь, бывший студент. Баклан, так звали тянувших за хулиганку. Кликуха у него – Кулик, по фамилии Куликов. Я, знакомясь, называл себя – Белый.

– Литературный кружок у тебя занимается?

– Вон там, – указал Кулик. За стеллажами с книгами виднелось небольшое пространство, где стояли журнальный столик, потрепанный диван, несколько стульев. – Стихами балуешься? – спросил он без иронии.

– И прозой тоже.

– Тогда тебе здесь место. Приходи в воскресенье... Ирина Ивановна рада будет, она каждому новичку радуется...

В воскресенье без четверти три я пришел в библиотеку.

– Проходи, собираются, – указал Кулик на диван за стеллажами.

Там я с удивлением увидел своего бригадира, пожилого, с большим ноздреватым носом, похожим на картофелину, и совершенно лысого. Сидел он много раз и много лет. Тело его за годы отсидки сплошь покрылось синими наколками. Кого-кого, а Калгана, так его звали, я не ожидал здесь встретить. Рядом с ним расположился на диване чахоточного вида незнакомый мне парень со впалыми щеками и резко выступающими скулами. На стуле пристроился мужичок небольшого росточка с круглым сморщенным лицом. Встретили они меня дружелюбно, особенно Калган, бригадир. Он усадил меня рядом с собой на диван, и все приговаривал с одобрением:

– Не ожидал... рад... очень рад... Что ж ты молчал раньше? – упрекал он меня, словно я работал с ним не три дня, а три года и скрывал, что пишу стихи.

Появились, шумно вошли два парня, должно быть одноклассники, ненамного старше меня, застучали валенками у порога, обивая снег, начали раздеваться, громко споря о чем-то. В библиотеке сразу стало шумно. О чем шел спор, не помню теперь точно, помню, что он был литературный, о стихах. Кажется, один утверждал, что новое стихотворение Андрея Вознесенского говно, а другой называл его великим, классикой нашего времени. Калган сразу включился в спор, стал доказывать, что Асадов первейший поэт эпохи, пытался читать его некоторые стихи.

– Пришла! – вдруг прошелестело громко, и спор затих.

Мы повернулись к двери и молча стали смотреть сквозь стеллажи, как невысокого роста женщина, стоя спиной к нам, снимает коричневую искусственную шубку, вешает на гвоздь, снимает белую пуховую шаль, встряхивает иссиня-черными густыми волосами до плеч, вначале они показались мне крашеными, проводит несколько раз по ним расческой, поворачивается и с улыбкой идет к нам меж стеллажей, чуточку развернув одно плечо вперед, чтобы не задеть книги на полках. Не помню, какой я рисовал себе перед встречей эту лагерную учительницу литературы! Помню, что не такой! Мне показалось, что к нам приближается индианка или персианка, так смугла она была! Чуть пухловатое, смугло-темное лицо ее озарялось блеском зубов. Сильно заметен был синевато-фиолетовый пушок над верхней губой, сгущавшийся к уголкам припухших губ. Глядела она, приближаясь, своими бархатно-черными блестящими глазами на меня. Я, не отрывая своего взгляда от ее персидского лица, стал почему-то подниматься навстречу ей.

– Новенький? – по-прежнему с улыбкой глядела она на меня. – Садись, садись! – положила папку на коричневый журнальный стол с многочисленными белесыми кругами от стаканов, села на свободный, скрипнувший под ней стул и спросила: – Как зовут?

– Белый! – вякнул я и поправился. – Петр Алешкин...

– Хорошо... Люблю простые имена: Пушкин, Шишкин.

– Алешкин, – добавил я, вдруг чувствуя внезапный восторг, прилив иронии.

– Стихи?

– И проза.

– Это хорошо, а то у нас только один прозаик, – улыбнулась она Калгану, и он радостно заерзал рядом со мной. – Его прозу мы сейчас будем обсуждать... А потом перейдем к стихам... Вы нам почитаете свои? – снова глянула она на меня.

Калган писал о пиратах, о капитане Флинте. В главе романа, которую он читал, мелькали красивые названия: Бискайский залив, Карибское море, Сарагоса, Бильбао. Он читал, а я видел перед собой не лысого мужика с вспотевшим лбом и крупным ноздреватым носом, а романтического мальчишку, мечтающего о дальних землях и морях, где он непременно побывает, когда вырастет, не подозревающего, что вся его жизнь пройдет в лагерях, а каравеллы и пальмы он каждую неделю будет видеть только в бане, выколотыми у себя на животе... Неужели и мне суждено прожить такую жизнь? – промелькнула горькая мысль. – Нет-нет, надо любым способом менять ее, уезжать, удирать подальше от Уварова, туда, где меня никто не знает. Начинать сначала, выдираться из круга, водоворота, в который втягивает жизнь.

Я не ожидал, что глава из романа вызовет такие споры. Спорили даже о некоторых строчках: одним они казались вычурными, фальшивыми, другие убеждали, что в романтическом произведении они допустимы, приводили примеры. Народ был начитанный. Я только слушал, наблюдая с интересом за спорящими. Ирина Ивановна тоже молчала, ждала, когда спор иссякнет. По всему виду ее, по изредка вставляемым словам, чувствовалось, что спор ей нравится. Она хотела подключить к спору и меня, но я постеснялся, покачал головой, отказываясь.

– Хорошо, привыкай! – улыбнулась она, и у меня на душе стало тепло и уютно, как, помнится, бывало в детстве, когда просто так, ни за что, гладила меня по голове, ласкала мать.

Последней говорила о главе романа Калгана Ирина Ивановна, говорила быстро и много, слушали мы молча, не сводя с нее глаз, и, кажется, не только я, но и другие больше не слушали, а любовались ее бархатными улыбающимися глазами, реденькой черной челкой, прикрывающей половину высокого смуглого лба, ее пухлыми губами, наслаждались звуком ее мягкого женского голоса, и у каждого от нежности к ней ныло сердце.

Потом, волнуясь и дрожа, читал стихи я, читал на память, потому что не знал, что их в первый же раз будут обсуждать, и не переписал. Но обсуждать не стали.

– На слух сложно судить, – сказала Ирина Ивановна. – Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– Ты молодец, у тебя много хороших строчек. Я не ожидала, признаюсь... Я рада, что ты пришел... Откуда ты родом?

У меня горело лицо, в душе был восторг от ее похвалы. Я был счастлив, что оказался среди поэтов: да, да, передо мной были поэты, избранники Божьи, а не уголовники. И они меня принимают, хвалят мои неуклюжие стихи. Я сгорал от нежности и любви к этой небесной персиянке.

– Из тамбовской деревни...

– Да, да, ты же сказал это в стихах о море... Прочти еще раз. В нем ты ближе всего подходишь к поэзии.

Я прочитал:

Я моря не видел. Мне море не снилось.  
Я вырос в тамбовской деревне степной.  
Но слушал я песни о вечности синей,  
И сердце мое наполнялось тоской.

И вот я стою на утесе высоком,  
И синяя вечность играет у ног.  
И вдруг показалось мне, будто б я сокол,  
И поле пшеницы шумит подо мной.

– Посидеть бы тебе над ним еще, поработать. Могло бы хорошее стихотворение получиться... – сказала Ирина Ивановна.

– Мне понравились стихи о страннике, – вставил Калган. – От души сказано!

– Это там, где строки: «но нету счастья в жизни сей! Себя я узнаю в грядущем и вижу: странник средь полей с пустой котомкою бредущий». – Я поразился ее памяти: один раз послушала и запомнила наизусть. Вот так да! Потом ее память меня не раз поражала, – Нет, нет, эти строки надуманы, не выплеснулись из души, не его характера. «Откуда ей ведом мой характер?» – подумалось мне. – А в стихах о море, я вижу подтекст, глубину, символ. Там об извечных ошибках человека говорится, о человеческой душе. Все мы склонны рваться вперед, мечтать, думать, что счастье, счастливые дни впереди, придут, когда мы достигнем того-то, а когда достигаем, видим, что ошиблись, что вся эта синяя вечность – мишура, а счастливые дни были как раз там, позади, когда мы мечтали о вечности синей. И кто знает, – вдруг грустно заметила она. – Может быть, кто-нибудь из нас назовет счастливыми днями, дни, проведенные здесь, в колонии. Не дай Бог, конечно! – вздохнула она и замолчала.

Мы тоже молчали, не сводили с нее глаз, ждали, что скажет дальше. И она заговорила, глядя на меня, как мне показалось, с особой интимной улыбкой. Видимо, так всем казалось, когда она улыбалась им.

– А сентиментальщину брось, не пиши. Это безвкусно. Да и себя губишь...

– Это какие?... – не понял я.

И она снова поразила меня своей памятью, прочитав.

– Да вот эти строки: «Я приеду к тебе и про все расскажу, свое сердце тебе я открою. И всю подлость свою пред тобой обнажу, на коленях стоя пред тобою». Или вот такие строки, уже от имени женщины: «Ты зачем обманул, нашептал, что влюблен? Ты зачем разбил бедное сердце? Прилетел, промелькнул, словно сказочный сон... А теперь мне скажи, на кого опереться?» Не пиши больше так, – снова, как мне показалось, как-то по особенному улыбнулась она мне.

Признаюсь: именно эти строки мне нравились больше всего, именно эти стихи пели под гитару в Уварово. И здесь, вчера вечером, зек-гитарист пел их, и полбарака слушало, потом хвалили меня.

Мы провожали Ирину Ивановну до конторы. На улице стемнело. Ярко, ослепительно светил прожектор. Снег сверкал, отражался искорками от сугробов, хрумкал под нашими ногами. Узорчатые снежинки медленно падали сверху, осыпали дорожку, сугробы, крыши бараков. Мир был особенный. Я не чувствовал себя заключенным. Я был слишком свободным, счастливым человеком. Впереди меня шла небесная женщина, инопланетянка, неизвестно зачем попавшая к нам, к уголовникам, в степь, в лагерь. Рядом с ней, по бокам, шли те два шумных парня. Сзади, подпрыгивая, хромал, пытаюсь оттеснить одного из них, Калган. Он все что-то быстро говорил и говорил Ирине Ивановне, спрашивал, а мы с чахоточным парнем шли сзади. Я счастлив был видеть, как шевелится белая шаль, когда она поворачивает голову, смотреть на узкие следы от ее валенок, в мягких снежинках, пухом лежащих на дорожках.

Ночью думал о ней, с нежностью вспоминал ее пухлые губы, смуглое, словно сильно загорелое лицо. Почему она здесь? Сколько ей лет: не больше двадцати пяти? Может быть, жена какого-нибудь начальника? Я слышал, как ворочался внизу на нижнем ярусе на своей шконке бригадир, видно, обдумывал очередную главу романа, и свесился к нему, прошептал:

– Слышь, Калган, она замужем?

– Кто? Иринушка?

– Ну да...

– Была... к мужу своему, зеку, приехала два года назад. Чтоб поближе быть... А его вскорости прибило. Балка сорвалась, по голове – и не копнулся. – Калган замолчал, потом добавил. – Ты о ней не думай... Зря! Многие до тебя думали... и после думать будут.

Но я не мог не думать о ней, ждал воскресенья. В тот день мы читали стихи любимых поэтов. Я читал Блока, каждая строка его томила меня, была наполнена тайным мистическим смыслом. И мне так хотелось, чтобы и Ирина Ивановна почувствовала то же самое, что чувствовал я. Потом, когда мы ее снова провожали, помню, она сама пошла рядом со мной, стала расспрашивать обо мне, и я признался, что поступил в педагогический институт, но учиться не пришлось.

– Ты подай заявление директору школы, – посоветовала она мне, – что хочешь учиться в одиннадцатом классе, хочешь освежить знания. У меня в классе всего три человека, да и те не каждый день ходят...

О такой возможности я не подозревал.

– А разрешит?

– Разрешит... Это же твое свободное время...

И я стал видеть ее почти каждый день. И каждый раз, когда она появлялась в классе и мы встречались взглядами, я вздрагивал, замирал, млел от нежности. Она видела, понимала, что я чувствую к ней. Скрыть я уже не мог. Однажды, когда мы задержались в классе вдвоем после урока, два других ученика выскочили в коридор, она протянула мне руку для прощания. Я коснулся ее пальцев и словно взрыв взметнулся в моей душе. Я быстро наклонился, чтобы скрыть от нее свое лицо, свои глаза и тихо коснулся губами ее теплой смуглой ладони.

– Дурачок ты, дурачок! – погладила она меня по щеке. – До завтра!

И ушла. А я еще минуты две стоял, прислонясь к парте, унимая жар, дрожь, ощущал ее нежные пальцы на щеке. Господи, как я счастлив был! Разве поверит кто, что можно быть счастливым в заключении, в лагере? Я и сам теперь спрашиваю себя иногда: было ли это? Не сочинил ли я, как сочиняю жизнь героев своих романов, а потом поверил в вымышленное? Нет, слава Богу, было, было!

Прошла еще одна томительная неделя. Не знаю, как развивались бы наши отношения, если бы библиотекарь Кулик не загрипповал и не попросил меня посидеть в библиотеке в вос-

кресенье: может, какой зек заглянет поменять книгу. Я был самым заядлым книгочеем в колонии, и он мне доверял.

В субботу, помнится, я без всякой задней мысли сказал Ирине Ивановне, что завтра буду с утра сидеть в библиотеке один. Я не думал, что она придет и мы сможем посидеть вдвоем, поговорить. Конечно, я мечтал об этом беспрерывно, но понимал, что мечты пустые: где в лагере можно уединиться?

Помню, большие стенные часы с медным маятником величиной с хорошую тарелку медленно и величаво били в тишине двенадцать, когда заскрипели морозно ступени, открылась дверь и, постукивая валенком о валенок, чтобы сбить снег, вошла она. Я читал книгу. Обернулся, увидел ее и вскочил... Помню, как, суется, дрожа от волнения, помогал снимать ей шубу, торопливо вешал на гвоздь, но как мы оказались в объятиях друг у друга, убей, не могу вспомнить! Кто сделал первый шаг? Она ли? Я? Как отрезало! Скорее всего, я на мгновение потерял рассудок. Опомился, пришел в себя и чувствую, как изо всех сил прижимаю ее к себе у порога, и она крепко обвила меня своими руками, а я тихо, бережно едва касаюсь ее губ своими губами, целую беспрерывно, сгорая от истомы. Я не выдерживаю, впиваюсь в ее сладчайшие губы и вновь проваливаюсь в беспмятство, в сладкую пустоту. Привел меня в сознание шепот на ухо:

– Закрой дверь на ключ!

Мы стоим, обвив друг друга руками, прижавшись к косяку. Пуховую шаль она снять не успела, и пух щекочет мне шею. Я отпускаю ее и поворачиваю ключ в двери. Она снимает шаль, резко мотнув головой, встряхивает волосами, смотрит на меня блестящими глазами, улыбается, смеется вдруг и, видимо, от прилива нежности сжимает своими холодными с мороза ладонями мои щеки, притягивает к себе и быстро клюет в губы. Я снова обхватил ее руками, но она, гибко изогнувшись, выскользнула, отстранилась, прошептала:

– Погоди, погоди!

Взяла сумку с пола, сунула в нее руку и вынула из-под стопки тетрадей и книг бутылку шампанского.

– Будем пировать... Выключи свет... У нас с тобой два часа.

– Три!

– Нас не должны видеть вдвоем... Я уйду и приду.

Мы сидели на диване, прильнув друг к другу, пили по глотку шампанское прямо из бутылки и целовались беспрерывно. В первый раз я чувствовал сладость женских губ и не мог насытиться. Я смелел, начал целовать ее в смуглую шею. Она сильнее откидывалась на диван, сползала на сиденье, жарче дышала. И чем больше я смелел, чем сильнее сходил с ума, тем сильнее дрожали у меня колени. Я не мог ничего сделать с ними, не мог сдерживать дрожь, не мог! Наконец, она сползла на сиденье. Мы упали, не выпуская друг друга из объятий. Валенки ее с мягким стуком свалились на пол. Я лихорадочными руками стал расстегивать ее кофточку, снимать одежду. Увидел ее маленькую темную грудь с тугой ежевичной ягодой и прильнул к ней губами, чувствуя, как колени мои уже не дрожат, не трясутся, а буквально ходят ходуном.

– Успокойся, успокойся, – шептала она, постанывая, и гладила меня одной рукой по голове, по коротко стриженным волосам, другой по спине под свитером и сорочкой. – Не спеши! Погоди!

Помнится, я вырвался из ее рук, вскочил и, как мне кажется теперь, слишком грубо сорвал с нее последнюю одежду, в один миг скинул с себя все, а дальше опять провал, беспмятство, сладчайшие обрывки. Помнится, все эти два часа, пролетевшие в мгновение, мы не выпускали друг друга из объятий, впали в детство. Целовались, смеялись над каждым словом. Я наливал ей сверху в рот шампанское, она делала глоток, а остальное я выпивал у нее

изо рта, прижавшись к ее открытым сладким губам. Проклятые часы пробили два раза. Она услышала и легонько высвободилась из моих объятий, села на диван.

– Ты выдержишь на занятиях? – спросила она, одеваясь.

– Постараюсь...

– Постарайся, это важно для нас.

На занятии кружка я был тих, молчалив, задумчив, хмур. Не было сил смотреть на диван, вспоминать Ирину Ивановну, мою Иринушку, в своих объятиях, видеть ее сейчас деловую, строгую, слышать ее голос.

– Что-то Белый загрустил, – усмехнулся Калган. – Помалкивает сегодня.

– Грусть – нормальное состояние интеллигентного человека, – ответил я, и уголовники-поэты захохотали над моей шуткой. Во мне сразу спало напряжение, я стал спокойнее, свободнее.

Я думал, что ночь будет бессонной, не сомкну глаз от счастья, но уснул после отбоя сразу и спал без снов до подъема. День проскочил в нетерпеливом ожидании конца работы, в ожидании встречи с Иринушкой в классе.

Дни, когда не было уроков в школе, стали для меня тягостными. И дело не только в близости, в поисках уединения, для которой мы были изобретательны и неосторожны до безрассудства, а больше всего в том, что я жаждал хотя бы на минутку увидеть ее, прикоснуться к руке, встретиться взглядом. Этого мне хватало, чтобы я чувствовал себя счастливым.

Чаще всего встречи наши происходили по воскресеньям в библиотеке на диване перед занятием литературного кружка. Кулик за бутылку водки давал мне ключ. Два часа в ласках и разговорах пролетали мгновенно, незаметно. Мы никак не могли наговориться, насытиться друг другом. Еще в одну из первых встреч я рассказал ей, как попал в лагерь.

– Почему ты не сказал следователю, как дело было?

– Я предчувствовал, что тебя встречу, – целовал я ее в уголки губ, в мягкий пушок.

– Нет, серьезно... Он же тебя подставил. Ты боялся его?

– Ничего я не боялся и не боюсь! Просто за падло предавать кента... Я бы сам презирал себя, не чувствовал бы человеком, если бы выдал его ментам. Жизнь длинна, зачем мне такой груз? Неужели не понимаешь?

– Понятно, понятно!.. Не пойму я другого: почему Губану не за падло, что из-за него человек сидит?

– Это уж его дело, его совести... А я хочу жить по правильным понятиям...

– Дурачок ты мой, – поцеловала она меня в лоб.

Во встречах наших мы слишком уверовали в свою звезду, в свое счастье, стали слишком беспечны, забылись, где мы находимся, не ждали катастрофы, а она была за дверью, на пороге.

Однажды, когда мы, как всегда, в воскресенье нежились на диване, кто-то толкнулся в дверь библиотеки, постучал, потоптался на скрипучем от снега крылечке. Мы затихли, замерли в объятиях друг друга, думая, что просто зек пришел поменять книги. Уйдет. Такое было не раз. Шаги действительно проскрипели по ступеням, удалились. Мы скорее всего увлеклись ласками, ушли из этого мира друг в друга, не слышали, как опер вернулся с запасным ключом, прокрался к двери, тихонько открыл ее и ворвался к нам. Мы вскочить с дивана не успели. Я обомлел, растерялся, а Иринушка, даже не сделав попытки прикрыть наготу, неожиданно резко и гневно крикнула оперу:

– Как не стыдно?! Выйдите вон!

Опер, влетевший в библиотеку с лицом человека, захватившего преступников на месте преступления и готового к расправе над ними, остановился у стеллажей в нерешительности. Пыл с него слетел, он как-то обмяк, промямлил:



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.